

Десять месяцев в плену у чеченцев

С. Беляев

... Назад тому пять лет (1843 г. — прим. изд.) отряд наш был в большой Чечне, в Ичкерийском лесу или на хребте Кожильги, славном по битве, как для нас, так и для горцев. В стычке, при смещении шашек и штыков, с ударом моим по одному из горцев, я был сдавлен и попал в руки неприятеля.

Меня отвели тотчас назад/Пройдя несколько сажен, мой пристав, который приписывал себе надо мной права победителя .и поэтому законного владельца моей особы, уселся и посадил меня отдохнуть на срубленный чинар. Объяснив хозяину свою жажду, пошли мы к ручью и встретились со старухами из близкого аула, спешившими за добычей. Всяк торопился, кто бежал, кто скакал. Из зависти ли к моему хозяину или от нетерпения положить хотя одного у руса иной готов был впустить в меня пулю, наводя дуло, но хозяин, отстранив меня к скале и держа ружье наготове, ворчал против дерзкого; иной на скаку замахивался плетью, и одному удалось—таки ударить меня по плечу: с гиком "Э, гаур-йя!", повертываясь на седле, он ударял той же плетью своего коня.

Напившись и пройдя еще немного, мы сели с чеченцем, которого я сделался добычей: мои патроны и кремни были у меня отобраны; он спросил о деньгах, но не обыскивал, на мой ответ. Отобрав, повел меня опять на ту поляну, где было побоище, и здесь передал другому; а сам, толкуя: " брат, брат", пошел дальше. Вскоре толпа меня окружила, она несла на показ все добытое на месте сражения; чеченцы веселились и заставляли меня играть на скрипке: я попросил ножа и начал делать подставку; тогда внимательно смотрели все, повторяя часто "варда, варда". Вероятно, говорили, что я буду мастер делать арбы. (Грузинские телеги или арбы у них называются вардами). Кто бросал мне кусок сыскиля (кукурузный хлеб), но я просил беспрестанно пить — и помоложе кто, тотчас отправился с травянкой.

Прошло часа два, я все еще сидел с чеченцами около толпы. Русские штыки сверкали в глазах моих, а мой, скрученный, переходил из рук в руки. Меня позвали и подвели к носилкам, которые опустили передо мною, чтоб я осмотрел лежавшего на них раненого старика. Я сказал, что умрет нынче же к вечеру. "Ну, неси". Мороз побежал по мне, я отговорился, что без хозяина не могу; но тут же подошел и Абазат (имя чеченца, моего хозяина), повторил слово "брат", и мы, подняв носилки, стали спускаться.

Несшие беспрестанно переменались, а мне доставалось отдыхать когда останавливались все: тогда они делили между собой свои сыски-ли (хлеб из кукурузы), ломая их на куски и бросая каждому под свернутые ноги. Другому на моём месте показалось бы пренебрежением такое швыряние — но

так ловил каждый из нашего круга. Закусим, прихлебнем водицей и опять в ход. Смеркалось; мы остановились ночевать: я, как невольник, тотчас отправился за хворостом, за мной присматривали только издали.

Ружье мое и сума были переданы верховому их одноаульцу, ехавшему домой сложить добычу и запастись хлебом, чтоб опять преследовать отряд.

С восходом солнца я стоял под чинаром, неподалёку от своих: прочитал все молитвы, какие знал, обновляясь жизнью; мне не мешали. Обогрелось утро, к нам пришли жена старика и сестра его: старик был еще жив, предсказание мое не сбылось. Поплакали и понесли опять. Сестра, так же, как и я, шла, не переменяясь; старуха шла позади, молча. Я отдал молодой свой лоскут холста, подкладываемый на плечо под носилки, и она, отговариваясь, взяла его с веселой улыбкой. Наконец мы спустились совсем вниз, где приготовлена была для раненого арба: уложив больного на мягкую постель и подушки, сами мы пошли сзади. Дальше и дальше молодая развлекалась, поглядывая часто на меня сквозь слезы.

Не допросивши как зовут меня, они дали мне имя Сударь. "Быть так!" — сказал я себе, когда Абазат, при переименовании, ударил меня по плечу. На мой спрос, хорошо ли это имя, Дадак (так звали молодую, двоюродную сестру Абазата и родную больного Мики) улыбкой подтвердила мне. С той поры все время я слыл под этим именем.

Не удалось мне слышать такого имени между ними, и сколько ни расспрашивал, говорили, что такое имя есть; мне же оно казалось почетным названием, хозяева, прежде мирные, вероятно, не раз слышали между нашими, слово сударь. Как бы то ни было, Сударь был встречен горцами как сударь.

Больной изнемогал, его положили на сани. Дорогой рассуждали обо мне, это было понятно, когда поглядывали на меня. Наконец один из чеченцев спросил меня, умею ли я косить, показывая на траву и махая руками; я отвечал, что учился только писать, но могу привыкнуть и к этому. Я толковал и так и сяк, говоря: день, два, три — там буду мастер на все. Все были довольны.

Скоро показался аул; горцы обратились ко мне со словами: "Гильдиган, Гильдиган!" — так звали наше селение. Когда мы пришли к саклям, начали сбегаться все родные и знакомые, начался плач, Я пошел было следом за ними, но мне показали другую саклю. У семейства, которому я принадлежал, было три сакли Горцы располагаются таким образом, что сакля самого младшего брата строится между саклями среднего и старшего — последняя приходится с любой стороны, следовательно, сакля среднего брата будет справа от младшего, моего горца. Там меня встретила девушка Хорха — сестра моей хозяйки Цацу, жены Абазата. Поменявшись саломом, я сел у стены на завалину. Со двора послышался зов; Хорха, выслушав приказание, тотчас поставила передо мной как-то оставшиеся куски сыскиля с биремом.

Не прошел час, как вдруг поднялся сильный рев и крик: старик умер. Девушка была без чувств, любя Абазата, зная тоску его; пришел Абазат и, ударившись в стену, начал плакать. Было не до меня, я вышел вон.

Умерший старик Мики заменял им всем родного отца. Место старшинства в фамилии занял родной брат умершего, Ака.

На плач и терзания Дадак я вышел было помочь другим удержать ее; но горькое ее "Урус! Урус!" заставило меня воротиться.

К вечеру замолкло все. На поминки была заколота корова. Ака сам принес мне ужинать, научал Абазата, как младшего из рода, обращаться со мной ласковее, ободрял меня, говоря, что я заменю Мики, что мне будет хорошо, что они знают Бога, и что хотя у них нет такого белого хлеба, как у нас, но что будут рады всем, что Бог послал.

Наутро старика схоронили. Много собралось народу из уважения к убитому на поле брани, и после того посещение продолжалось долго. Каждый, пришедши на место памяти, должен остановиться перед толпой: все приподнимаются и читают смертную молитву, где в конце, при слове "фата'а", охватывают свои борода.

Каждый раз я был подводим перед такое собрание. Босой, выступал я мерно и твердо, притом, зная их полный аттестат — отважную поступь. Вес любовались; при взгляде же на мои ноги, покачивали головой: приметно жалели, что на них скоро нарастет кора. При моем "Эссалям алейкюм!" (Да будет над вами благословение Господне!) вся толпа учтиво приподнималась и отвечала мне тем же: "Ва алейкюм эссалям!" (Да будет благословение также и над тобой!).

Горцы предполагали, что я сын сардара, то есть значительной особы, или министра, или сын какого-нибудь генерала, что я переодетый в солдатское платье офицер и потому вступали со мной в суждения о многом, через двоих, бывших тут, знавших хорошо по-русски. Требовали моего мнения: как лучше им нападать, с которой стороны, представляя, что удобнее на арьергард; смеялись нашей попытке пройти Ичкерийским лесом. Любопытные, они хотели знать как живем мы, и когда я рассказывал им о наших знаменитых городах, все дивились, восклицая: "Астафюр-Аллах! Астафюр-Аллах!"

Любознательность их простиралась далеко. Они любят поговорить, зато мастера и посмеяться, если видят, что нехорошо. Умеют ценить дорого достоинства в человеке, но в азарте и самый великий человек может погибнуть у них ни за что.

Когда я сказал, что умею читать Коран, тотчас принесли книгу и заставили показать свое умение на самом деле. Экзаменатором был мулла. Они говорили: "Останься у нас: ты будешь офицером". — "У меня есть мать, сестры и братья, а здесь все чужие; но поживу и посмотрю," — говорил я.

Вот как началась жизнь моя: со мной обходились хорошо. Первую ночь я провел один, с шелковиками. Встав утром, я умылся и утерся своим полотенцем, которое всегда было со мной в походе и служило, как невесте покрывалом, защитой от зноя; тут я должен был отдать его своей хозяйке, удивляясь ее просьбе, — и после уже утирался рукавом рубашки, пока была, а как изнасилась — обсушивался перед огнем. Я покорялся всему, потому что не видал насилий.

Через пять дней Ака купил меня за ружье, в три тюменя (или в тридцать рублей серебром, там торговля больше меновая). Он, как неопытнее других, предполагал, что я не солдат и надеялся взять за меня большой выкуп. Отгибая завороты шапки, часто он говорил мне: "Вот, если дадут за тебя эту полную шапку серебра — отдам". Но на мои слова, что я солдат, что он не получит и трети того, он скоро набрасывал ее на голову и начинал пошаривать угли в своем камине. Чтобы вывести его из печали, я радовал его словами: "Ты знаешь ведь солдатскую жизнь: лучше ли мокнуть на дожде или вот так сидеть с тобой у огня? Хотя я не работал, но привыкну и буду во всем помогать тебе". Он улыбался, покачивая головой.

Я начал мало-помалу привыкать к их обычаям и делать свои филологические усилия. Даже на другой день по взятии меня в плен, я переписал множество "общежитных" слов от мальчика, бывшего у нас в аманатах и потому-то мог объясняться кое-как. Да ц чеченцам хотелось, чтоб я скорей научился понимать их, и для того давали мне все средства. Часто зазывали нарочно хорошо знающего по-русски. Они простосердечно говорили: "Если ты будешь у своих, то все-таки тебе пригодится: ты будешь там переводчиком.

Хозяин хвалил меня всем, говоря: "Ва куран діаша, ва джайна діаша, язунчи; дерриге ха !" (Читает и Коран и Джайну, пишет по-своему и по-нашему; словом, сказать, знает все до капли!) Если я хотел сесть к огню, все расступались; мальчишек отгоняли прочь.

Часто собирались или родные, или знакомые тужить о покойнике. При встречах их, из разных хижин поднимались все фамильные и соседи. Не доходя до дому шагов с десять, начинали завывать: кто с сильным плачем рвал на себе волосы, кто, поджав ноги, бил себя по лицу и в грудь и безобразили себя такими побоями. После плача все садились в кружок перед поставленным блюдом с яствами.

От мужчин не требуется такого реву. Над ним смеются, если он пригорюнится. При таком собрании они выходят из сакли на двор и составляют свою беседу о смерти; если же прошло недели две, как умер покойный, то они говорят не о жизни его и общей, а о своих набегах, о распоряжениях своего падчши и его наместников, наивов.

Я мог заглядывать в саклю. Когда церемония оканчивалась, вдруг переменялся разговор и у женщин, как будто все здоровы и никто не умирал. Тогда входили в саклю и мужчины и составляли два круга: мужчины у огня, женщины ближе к порогу или в углу. Я не наблюдал их обычаев, как будто не понимал, и подсаживался то к серьезным, то к чувствительным, особенно когда между ними были девушки или дети, и рассматривал их рукоделье: кто шил, кто сучил шелк, кто пряд бумагу.

Если приходят посидеть, то никто не сидит без работы: или приносят свою, или берут у хозяйки дома; особенно девушки должны показать свое трудолюбие.

И вот в таком кругу кое-что шилось и для меня. Прехорошенькая девушка, казалось, довольна была своим занятием: она беспрестанно спрашивала меня: "'Хорошо ли так?"

"Дука дики-ю!" (Очень, очень хорошо!), — смеясь отвечал я. Своим любопытством нередко я приводил в смех все собрание, тогда выбиралась мне невеста: стыдливые закрывали лицо своим рукоделием; которые посмелее, говорили Аке о его дочери: ей было уже пятнадцать лет. Худу, или Ганипат, была довольно порядочная девушка.

До сих пор я жил между горцами без работы, без обязанностей пленного или, другими словами, раба. Кончилась эта беззаботная жизнь к моему удовольствию. Начались полевые работы — занятие чеченца. Я был рад помогать им, боясь, чтоб они не упрекнули меня своим хлебом.

Подходило время полоть кукурузу, или как они называют ажгишь-асир. Ака, чтобы не обременять меня, видя мое неумение, собирал два раза помощь, состоявшую из девушек. Тут я то одной, то другой пособлял, как бы они не задавали себе одна перед другой уроки; но чтобы не обидеть ни одной, я помогал каждой: и так они не знали, которая мне больше нравится.

Кто еще не слышал обо мне хорошенько и считал обыкновенным пленником, часто просили у Аки

себе в работу, кто на день, кто на два; но Ака, хотя и против обыкновения, всегда отказывал. Мне прискорбно было смотреть на хозяина, когда просившие, косясь на него, отходили недовольными.

Дни проходили за днями, я становился задумчивее. Грусть, что я лишен свободы, не давала мне места. Не было обширного поля, где бы я мог разгулять тоску!.. И в этой сонной жизни, от дремоты и бездействия, я развлекал сам с собой свое одиночество: каждое утро, когда еще все тихо, я бродил вокруг своей сакли; но люди и тут отнимали у меня последнее. Горцы не понимали причины моей тоски и уверяли хозяев, что во мне кроется какой-нибудь замысел черный; они часто твердили моему Аке о кандалах, говоря: "Бсргыш уни-бу! Бсргыш уни-бу! О, борс-йи!" (Глаза, его непутны, он смотрит как волк). Это был месяц моей свободы, которую я потерял: тут же тихо прошел целый месяц пленнической жизни моей между чеченцами. Приказ Шамиля "всех, какие ни есть пленные, сковать и смотреть за ними строже" нарушил эту тишину.

Двое пленных из солдат, убив девять человек горцев, бежали и это самое было причиной строгости.

Два мжрада, мулла и человек пять зрителей пришли под вечер к нашей хижине, где я тогда, прислонясь к стене, стоял, задумавшись, а мои хозяева и соседи, кто на арбе, кто на земле просто сидели и провожали день рассказами.

— "Ака! — сурово вскричал мжрад, подходя к нему с ружьем под мышкой опущенным к земле, — а ты все-таки не куешь своего пленного; надеешься на него? Не слышал, что сделали его братья?"
— Он мне достался недорого: я если уйдет, то потеря моя; а не кую — Он знает Бога так же как и мы; надеюсь, что мы все будем живы, — отвечал Ака.
— Мича бурджуль? (Где кандалы?).

Ака снял шапку, подражая нашим, и начал упрашивать; но неумолимый кричал зверски: "Са-еца бурджуль! Са-еца!" (Давай сюда оковы!)

Хозяин кинулся было в саклю, крича: "Са-топ!" (Ружье!)

Дело доходило до боя. Двожродный брат Аки — Янда, мулла и я ухватились за него. Я говорил: "Бурджуль катта-бац!" (Кандалы — ничего!..).

Абазат снял со стены конские кандалы и подал их мжраду, который уже обнажил было свой кинжал. Я опять прислонился к столбику под навесом сакли и отдавал мжраду свои ноги: ворчаваши!! как ворон на добычу, он вдруг замолк, и, вложив кинжал в ножны, дрожа, замкнул ни моих ногах замок с словом "Гинци дики-ду!" (Теперь хорошо!). Ключ взял к себе и пошел, выпрямляясь важно; за ним, и другие...

Считая себя лицом важным, я был тогда собой доволен; брэнча вошел в дом и сел к огню, любуясь своим украшением... Ака сел со мной рядом, и молча, передвигая на своей голове шапку, небрежно раскидывал угли. Дадак и жена покойного Мики укоряли меня, для чего я дался. Если бы я хотел бежать, говорил я, то для меня это худо; но мне все равно и с ними.

— "Сабурде, Сударь, сабурде! (Подожди!) — говорил взбешенный Ака, — я пойду к Шуаипу (Шагиб был наместником в этих улусах) — и если он не позволит, к самому Шамилю; а ты не будешь в кандалах.
— Катта-бац! Катта-бац! — говорил я.

Когда легли спать, и я также по-прежнему вместе с Акой на одной постели, Ака вздагхал при каждом звоне и повторял: "Сабурде, Сударь, сабурде!"
На утро принесен был ключ — я был раскован тотчас же. Но на ночь должен был одевать их опять. Прошел пыл, Ака уже не в силах был преступить приказания старшего: удовольствовался тем, что я буду скован только ночью. Никогда он не хотел сам надеть кандалов на меня и не осматривал, когда был скован: моим ключником был двожродный его брат Яндар-Вей (лет семнадцати). Как виновный, он подавал мне эти бурджуль, я сам замыкал их и вытягивал ноги, показывая что замкнул... Я иду к своему огню, и клонит меня юн. Пообедаем в тени у сакли — ложусь спать и сплю крепко. Проснусь — праздные давно уже собрались провожать день: толкуют о боях, об оружии; каждый хвалится своими доспехами; играют, забавляются как дети. Подъедет гость — занятия оставляются, все приветствуют; хозяин берется за повод и просит приезжего снять ружье. Бели тот соглашается, то при входе в дом вынимает из-за пояса кинжал и пистолет...

... Поутру Ака расспрашивал, кого я поминаю: не жену ли, или какую возлюбленную, и что такое "Ах, Господи! Ах, Господа!"

Дни пролетали, а новые наносили новой тоски. Часто говорили: "Самагатти, самагатти! (Не скучай!) Привыкнешь, и здесь будет хорошо."

Часто Ака уговаривал меня оставить свою веру и принять их: может быть, ему хотелось выдать за меня свою дочь. Он говорил, целуя мои руки: "Живи у меня, Сударь: может быть, я скоро умру, или убьют меня, а останутся дети — и некому будет присмотреть за ними, а тебя они любят".

Веры переменять я и не думал; принуждения же у них нет. Если пленный не хочет жить, то

говорит прямо: продай меня тому-то или кому-нибудь; я не хочу у тебя жить. Удержать нельзя: всегда сковывать — не поможет: в кандалах плохой работник. Хозяин боится побега и продаст...

Еще до меня Абазат, как удалой, похитил в одном ауле лошадь и передал ее русским; хозяева лошади не хотели ничего как только воротись пропажу, а русские просили за нее пленного; розыски и переговоры продолжались, и Абазат надеялся отдать меня, потому-то я все и ждал. Но воротить лошадь не удалось: она переходила у наших из рук в руки. Абазат был посажен в яму на пять дней. Пищу носила к нему Хорха, его любимица; я, как неприлично мужчине нести женские повинности, только посещал его. Наконец он был приговорен к смерти. Мюрады конфисковали все его имение, остался один бычок; двоюродный брат Абазата, Янда, отдал быка; Високай, его тесть, отдал свою лошадь. Все это досталось истцам.

Уважая род Абазата и его собственное молодечество, жители нашего аула собрались к наibu просить виновного на поруки. Все кровли хижин покрылись любопытными провожать осужденного. Абазат шел весело, издали прощаясь со йсеми родными. Дадак, как героиня, не отстала от мужчин.

Такого чувствительного и нежного сердца, как в этой женщине с/ героическим духом, я мало встречал и между своими.

Возврата их ждали к вечеру. Вдруг голоса: "Ля иляга, иль Алла! Ля иляга, иль Алла!" подняли всех оставшихся в ауле. Все с нетерпением хотели знать решение наместника: Абазат остался у наиба в заключении.

Скоро суд кончился, и мой хозяин воротился так же веселым, как и перед приговором. Мы зажили по-прежнему.

Абазат и я, его жена Цацу и племянник Абазата, сирота Даланбай, составляли наше семейство.

Роскошная природа, доброта Абазата и крепкая надежда на возврат по временам делали меня веселым гостем. Как после исповеди, нам, после тяжких трудов, если не мило все, по крайней мере ничто не тревожит нас. Видя в торцах тех же людей и смотря на их вечерние молитвы, когда человек, как бы прощаясь со светом, отдается тьме, умирительно прося осенения своему бездейственному телу, я роднился с ними. А всякое призвание Бога, в ком бы оно ни было, порождает в нас какое-то сострадание; я предавался своим мечтам и был еще доволен, что судьба так милостиво водит меня по извилистым путям, я приятно забылся!.. Тоску не иным чем считаю я, как греховным бременем на слабом теле. Бодрость духа есть благодать, ниспосылаемая нам свыше за безусловную любовь нашу к людям и надежду на вечную жизнь. Сами мы бываем причиной своего горя, и если б мы любили друг друга, не видели б суровых дней. Когда человек весел, ему все братья. Откровенно говорю я о состоянии души моей, когда мне было весело и когда тяжело. Было весело, когда надеялся, и тяжело, когда сомневался. Жизнь моя у горцев была переменчива, и тоска моя об этом была наказанием за грехи мои...

... В ауле было два солдата пленных и все мы виделись друг с другом. Часто Ака, чтоб показать народу, что мне у них жить хорошо, брал с собою к мечети, куда они по вечерам собираются беседовать, попросил быть веселей, посылали тотчас за солдатами, втроем мы разговаривали, прочие слушали. Солдаты просили меня писать письмо к своим, но я отговаривал. "Если они не захотят отдать нас, то не отвезут и письма; а, замечая нашу тоску, будут больше присматривать за нами,. Будем пока жить" — говорил я. "Какое житье с ними, собаками! Вот нашел людей-то! Тебе, верно, не хочется на свою сторону! "

Что оставалось мне говорить с такими разумными! Я отвечал: "Да, у меня не то сердце, что ваше, и нет также родных!.."

При разговорах все присутствующие обращались к нам: "Ты мужик, и ты мужик, а это князь". Ненависть была явная. Когда они приходили ко мне, я всегда, чем только мог, угощал их как хозяин: срывал на огороде огурцы, арбузы и дыни, а хозяйка приготавливала тотчас сыскиль. "Вот, видишь, как живешь та! Что же понесет тебя к своим!"

Вот как понимали они ласку моих хозяев и злобно завидовали моей жизни. Покушали и не поблагодарили даже, хозяева только улыбались, извиняя их грубости, и принимая их единственно для меня.

... В начале августа начался покос. Первый мой опыт или урок был на помочи у Яны. Все мои хозяева отправились с косами, меня же взяли безо всего. "Что же я буду делать?" — говорил я им. "Катта бац! Будешь смотреть; может быть, поучишься, да поешь хорошо: там будет много мяса." Пришли на покос, стыдно мне было взяться за косу. Народу человек тридцать, но только половина из них были с косами, и так одни сменялись с другими. Ака показал мне место под деревом, чтобы я лежал: "Яхь дац (Стыда нет!)," — говорил он. Началась работа, один говорит: "Ну, зачем же ты сюда пришел? Коси." Я взял у него косу и начал стараться; но он, выхватив ее, заревел: "Дазала! Уаха! (Долой! Ступай сиди!)" Досадно и стыдно было мне. Спустя немного, стали завтракать, я отговорился, тогда все удивились моей стыдливости и уверились в моем неумении. Еще немного, стали, опять подкрепляться, но я опять отказался, что как не работал, то и не должно есть. "О, дики кант у!" — говорили они вслух. Сын Яны мальчик лет четырнадцати, во время отдыха других учился косить; Ака, смотря на него, говорил мне: "Неужели ты не сумеешь? Ну, как-нибудь! Потешь нас и хозяина!" Я взял косу и прошел ряд, лотом другой, и

после уже не отставал от других; сменял часто и солдата, которому никто не помогал.

Горцы косят и справа и слева, не как наши, в одну сторону. Косы их легкие, плоские с обеих сторон, в длину не более трех четвертей; конец немного загнут; косник выгнут в середине и без ручки, как у наших. Снимая сено с рядов, тоже ворооченых, как и у нас, сначала кладут маленькие копны "канча" (что можно взять вилами); потом из трех-четырёх таких канчей составляют одну, и эти уже к вечеру по три складывались в копны — "литта"; а на другой или третий день, смотря по солнцу, кладут небольшие стоги — "холя", арбы в две. В подгорных аулах и зимой в скрытых местах кладутся стоги большие, арб в десять и больше; если же нет удобных мест, то сено складывается небольшими стогами в разных местах леса. Иногда прямо из канчей кладут большие копны — "такор", которые уже по осени возят на арбах в стоп*. В арбу идет два или три таких такора...

... Собрались косить и мы, начались приготовления. Верст за десять отправились мы с Абазатом к кузнецу точить свою косу; он точил, я вертел точило. Вдруг, крик: "Ля и ляга, иль Аллах!" заставил нас бросить работу: это ехал Шамиль благодарить жителей всех аулов за Ичкерийский лес. Над ним виднелся зонтик, придерживаемый одним из его телохранителей, ехавшим верхом же с ним рядом. Это было не близко и я не мог рассмотреть всего; осенью я видел Шамиля хорошо, когда он проезжал Гильдиганом. Он ехал на серой яблочной (уважаемый цвет) лошади, передовые ехали в саженях тридцати от него, а рядом с ним наиб, позади вся свита, человек из пятидесяти » где везли секиру или алебарду на древке» как эмблему смерти за неисполнение законов. Он проехал молча и только взглянул на меня; наиб же приветствовал меня с усмешкой: "А! Иван!" Вообще горцы всех русских называют Иванами.

Шамиль — стройный мужчина, рыжий, (в то время лет сорока, но говорили, что ему сорок пять), лицом бел, длинная окладистая черная борода; лицо умное, но с каким-то равнодушием, и нет ничего, чтобы заставило разгадывать. На голове его чалма с разноцветным тюрбаном; сверх обыкновенного платья надет был черный овчинный полубубок (мужчины вообще носят полубубки черного цвета, женщины белого), покрытый шелковой материей с черными и розовыми полосками.

Скоро мы всей фамилией начали свой покос. Тут я косил уже в запуски: но ревность к работе они удерживали и заставляли отдыхать вместе, а в день доводилось отдохнуть раз десять. Они говорили: "Нам стыдно одним сидеть и есть, мы устали, так и ты садись."

И у горцев так же, как и у нас, покос считается тяжелою работою — "страда", — говорят они; и к этому времени хозяйки припасают масло и сыр своим мужьям.

Ака и после, как старший в роде, все-таки был старшим и надо мной. Часто заботился, не голоден ли я; часто зазывал меня к себе и угощал теми огурцами, за которыми ходили я и его дочь, говоря: "Это, вот, плоды твоих и ее рук." Худу улыбалась и вмечте с отцом повторяла: "Сударь, я! Я! (Кушай! Кушай!)/ Жена Аки, Туархан, Чергес, Пулло и двухлетняя Джаиба все твердили: "Я! Я!" Старшие говорили: "Послушай, Сударь, Джаиба и та тебя просит".

Напоминая таким образом о своих ласках, Ака уговаривал меня перейти опять к себе, ссылаясь на Абазата, что у него нечего делать, и что он потому продаст кому-нибудь. Абазат, замечая это, в свою очередь говорил мне, что и у него не хуже Аки, что Ака не джигит, что он достанет себе лошадь и будет чаще в набегах, и что тогда будет у меня все платье. "Я знаю, Сударь, — говорил он, — почему ты тоскуешь: не одет? Вот, потерпи: я достану платье, и мы заживем!"

Много за меня доставалось Цаце, когда она напоминала ему, чтобы продать меня, что у них работы почти нет. Он же, надеясь на свое удальство, хотел сделать меня домоседом. Не раз шутя говорил он мне, когда уходил куда надолго, как, например, на недельный караул: "Ну, Сударь, если ты захочешь уйти, то не уходи так, а голову долой моей жене. Вот, топор в твоих руках". При такой шутке боязливо морщилась моя хозяйка и в самом деле никогда не оставалась со мной одна на ночь, а всегда призывала кого-нибудь.

На вое просьбы родных и знакомых моих хозяев, отпустить меня к ним на работу» Абазат отказывал всем, кроме своего тестя, просьбе которого он уступал нехотя и потому только, что тот отдал за него лошадь. Этот старик, Високай, надеясь за долг взять меня, уговаривал меня перейти к себе, обещая отдать за меня свою дочь Хорху; но с намерением! как объяснил мне Абазат, из барышей перепродать в горы, где пленные ценятся втрое дороже, чем в приторных местах, где более возможности к побегу. Я не отказывался, а ссылаясь на Абазата, как он хочет; между тем сам упрасивал не продавать; Абазат обещал. Раз» выпросив меня к себе, он отдал своему племяннику, без ведома Абазата; мне отказаться было нельзя и я должен был работать день новому хозяину. Тут не мог я смотреть без жалости на пленного мужика, взятого под Кизляром. Он зависел от пятерых, бывших в набеге, и потому работал каждому из них по понедельно, следовательно, не имел отдыха. Оборванный, всегда в кандалах, он должен был трудиться, не смея отдохнуть без позволения своего хозяина; а это был один из пятерых злодеев. Но, несмотря ни на свою наготу, ни на старость, ни на кровь, текущую из под гаек, разогретых солнцем, Петр не унывал, или, лучше сказать, окаменел, и зло ругался на свою судьбу. Это был в то время человек, потерявший всякую надежду.

Нельзя было без сострадания смотреть, когда он, по приходу нашем домой, показывал мне то место, где он спит. Оно было под койкой хозяев, где на ночь злая хозяйка всегда заставляла его корытом. "Вот, посмотри, — говорил он, — как я живу!.. — "Что же делать! все-таки молись!"

— "И молюсь когда, только поплачешь и вовсе голодный полезешь под кровать!.."

Хозяин этот, как довольно зажиточный, следовательно, жадный к богатству и любивший работать чужими руками, весь день просидел в тени; косу же взял на показ своим одноаульцам, что будет трудиться; наблюдал только за нами, не давая отдыха. Я, как подчиненный ему, начал говорить о том: "Ну, ты отдыхай, а Иван (как вообще презрительное имя) пусть косит." — "Нет; если я устал, то он и подавно, как старше меня вдвое". Когда я заметил ему, что я не работал так у своих хозяев, он должен был дать отдых. В обед я занял его разговорами вообще о жизни человека; пенял ему за пренебрежение Петра: он отговаривался, что он со своей стороны и готов был бы одеть его, если б он принадлежал ему одному; удивлялся, что я скоро понял их язык и говорил простосердечно: "Ну, ты мне все равно как брат, а Иван мужик, он ничего не знает, потому и обращаемся с ним так. Теперь ты садись со мной есть вместе, а Ивану Нельзя."

По приходу домой я жаловался Абазату на Високая, что он передал меня другому, Абазат отвечал: "У! Сударь; сердце мое болит (Докъ ляза), что я должен угождать этому мошеннику! Что ж делать! Он тесть мне. Да и то бы ничего, если б, на мое горе, я не зависел от него. Ты знаешь, что он заплатил за меня. Как уж я не угождаю ему! Намедни и сам ему работал; вот и тебя посылаю всегда, как ни попросит, хотя мне и совестно перед тобой, — все нипочем! Жаль, что нечем расплатиться с ним! Ему хочется взять тебя, он думает о тебе, как и о всех русских, что ты глуп; вот и маслит тебя, чтоб ты перешел к нему, а сам норовит продать подороже. Нет! Не бывать этому! Хотя я не богат, но барышничать не стану. Дай срок, Сударь; вот придет осень — я достану скот и, может быть, расплачусь с ним. Так, невольно женился я на его дочери. Я был еще мал, когда остался сиротой; дом наш был богатый, хозяйствовать было некому — и вот покойный Мики женил меня, думая, что она будет хорошая хозяйка; слухи об ней были хорошими он поверил. Вот каково сиротствовать! Если б жива была мать моя, не было бы этого: она была женщина умная. А богатые, Сударь, или которые не знают горя, любят работать чужими руками и, небось, ни с кем не поделятся! Если б ты попал к богачу, разве бы так жил, как у меня? Я делю с тобой все пополам..."

... Платье, присланное Петру его женой, в год износилось все; выкуп же трех сот рублей ассигнациями, как он был оценен, жена прислать была не в силах, а барин его не заботился. "Если выкупит меня жена, — говорил Петр, — то я буду вольный; поэтому-то барин и отступается."

На передачу присылаемого одеяния горцы честны; не знаю, каковы на деньги.

... Давно мне хотелось побывать в горах и взглянуть на места; но как было пробраться туда? Я часто спрашивал Абазата отпустить меня туда работать. Боясь моего побега, он не соглашался. Играли мы в шашки — подходит Високай и отзывает его в сторону: Абазат, бледный, дрожа и со слезами говорит мне: "Сударь! Ты хотел в горы, вот, иди теперь с Високаем, если хочешь". Я смотрел на него подозрительно, не доверяя его тестю, который давно манил меня к себе, Абазат знал мои чувства, понял и теперешний мой взгляд, и больше бледнея, сказал: и Не думай, Сударь, чтобы я тебя продал; если не хочешь — не ходи, я отдаю на твою волю; если пойдешь, бери что хочешь, что тебе надо: сукна на чую, шаровары, шапку ли, полушубок ли, тканья ли — все это будет твое, будь уверен. А не понравится тебе жить там долго, устанешь от работы, приходи тотчас же сам назад сюда."

У меня навернулись слезы; я готовился идти.

Сбираться было нечего: пока Абазат привязывал к коснику косу, я дабежал в саклю проститься с хозяйкой, сбежал и в другие две, простился со всеми. Ребятишки просили меня скорее возвратиться; пожал я руку своему Абазату и отправился в путь, неся с собой Непонятную тоску, что я уже расстанусь с ними совсем, расстанусь, следовательно, и с надеждой быть на своей стороне. Было грустно.

Чтобы надеяться на возврат, надо привыкнуть к обычаям жильцов, войти в доверие к ним, уметь пользоваться свободой и ознакомиться с местностью — а в горах приобрести все это нельзя.

Долго шли мы. Проходя аул Галэ, где старик живет зимой, набрали на огороде его огурцов вместо воды, закусили, напились и стали подниматься в гору.

Местность аула Галэ прекрасна. Здесь, мне казалось, не худо построить крепость. Аул лежит от Гильдигана в трех верстах, на восток В Чечне, однако же, есть два удобнейших места для постройки укреплений. Это — в Артуре и в этом Галэ, находящемся в семи верстах от него, идя от Грозной, через Артур к Куринскому укреплению (Ойсунгур). В обоих аулах хорошие реки: вода не может быть Отведена горцами, или испорчена, как они это нередко делают, — не испортят потому, что эти реки проходят многими аулами. Главное: через эти аулы дорога в горы; а в Чечне, как я слышал, только и есть два эти прохода, соединяющиеся в самих горах в один. Крепости эти должны быть сильны; тогда отобьется почти вся долина, где множество аулов. Доставлять же в них провиант можно через Старый-Юрт (Даулет-Гирей), реки Сунжу, Аргунь и Холхолой. Весной и зимой Сунжа имеет броды. Можно даже построить через Сунжу и Аргунь мосты; Холхолой незначительна; а чтобы обезопасить мосты и проход, — построить также укрепление на Аргуне.

В окрестностях этих мест множество лугов и лесов, необходимых для укреплений. Все аулы, находящиеся по этому направлению, невольно должны покоряться, но не без урона обошлось бы построение крепости в Галэ, но пункт этот во всех отношениях немаловажный.

Чтобы занять это место, сильный отряд должен собраться в Гильдигане, где место открытое; отряд может стоять без опасности; есть ручьи; на время можно вырыть колодцы, грунт удобен. От Старого-Юрта, откуда ход удобнее, этот аул Галэ, мне кажется, в перстах в двадцати не более; от укрепления Куринского — верстах в десяти, но отсюда проход будет затруднителен, по гористому и лесистому месту положению.

Провиант сначала можно запасти в укреплении Горячеводском, что при Старом-Юрте.

На Аргуне построение будет совершенно легкое: место чистое. Не могу утверждать, хорошо ли это все, как я сказал, но как думаю и что могу видеть, — считаю обязанным открыть.

Земляные укрепления кавказские не требуют больших издержек; орудия же можно вывести во вновь построенные из укреплений давних, близких к линии.

Верст семь все вверх шли мы дремучим лесом, отдыхали мало, отставал; Високай родился в горах и был неутомим: часто, уйдя вперед, он поджидал меня. Мы утоляли жажду огурцами; а виноград, висевший по обе стороны тропинки, как бы сам падал к нам. Наконец мы поднялись на самый хребет; было часов пять пополудни; перед нами развернулась картина чрезвычайная. Старик, дойдя до гребня, спускавшегося ужаснейшею скалой» остановился, подперся и ждал меня. "Посмотри, каково!" — говорил он мне, показывая на разбросанные там и сям аулы, индя в тумане, а где и ярко освещенные закатывающимся за горы солнцем. Я вспомнил времена прадедовские и любовался молча. "Ну, что? Зайдут сюда русские?.. Можно провести сюда вокку-топ (большое ружье-пушка)?" "Да, нельзя", — отвечал я, любясь картиной.

Мы начали спускаться далеко вниз; иногда разбегались, едва удерживаясь где у векового чинара. Кизил, груша, яблоки! орехи и виноград, все было под ногами.

Мы были не遠далеке от рокового места, и хотя прошло уже слишком три месяца после битвы, запах трупов был несносен и при малом ветре. То спускались, то поднимались мы беспрестанно. Все тихо и глухо было везде; во всем была какая-то таинственность. Я считал себя счастливым. Наконец послышался лай собак, рогом гиканье пастухов. Оборонись, прошли мы собак, наконец заваяло чем-то новым! Нам встречались уже ишаки с вьюками (в горах все возят на ослятах): босой вожатый гикает на своего мула, в лесу разносится весть патриархальных времен!.. Солнце садится все ниже, а в горах была уже ночь. Мы спускались все вниз, послышался и горный поток; подходили близко, луна уже светилась; показались скалы, доступные лишь птицам. В этих громадных берегах вился ручеек, где мы омыли ноги. Когда поднялись опять наверх, везде было глухо; луна освещала перекаты горы, но все еще было далеко и высоко. Вдруг пришли к обресту — послышался аульный шорох; сердце находило себе отдых, все звало на покой; мычание скота напоминало какую-то беззаботность, жизнь безопасную, как бы тут вовсе никогда не знали брани. И в самом деле никогда нога русского еще не была там. Аул был Гюни, жители чеченцы или нохчи, до особого названия — поной. Месяц светил; из-за деревьев белелись глиняные сакли. Старик остановился и вскрикнул: отворилась дверь и осветилось огнем мирного камина лицо прелестной девушки. Это была Хазыра.

Новая, незнакомая для меня жизнь как бы переселила меня в рай, доволен был приключением. Дом их показался мне дворцом, и я тихо, вежливо попросил воды обмыть наперед ноги. (В дремучих лесах, куда не проникает солнце, грязь лежит почти все лето, а мы были босые, как и все путешественники). Обмыв ноги, я вошел в приемную саклю, где уже сидел Високай; тихо отдал я селям, хозяин учтиво встал, и, подавая мне подушку, просил садиться. Красотка и хозяйка были в другой половине дома.

Хазыра была дочь родного брата Аккирея. Этимологически иначе не могу разобрать это имя, только знаю, что хазы вообще значит прекрасный; говорят: хазы-кант-у — красавец; хазы-жа — красавица. Аккирей велел принести сала и мы вымазали свои ноги. Посидели, поговорили, подали ужин; поели, ополоснули рты водой, как водится, старики выкурили по трубке, ополоснули рты опять и начали вечерние молитвы. Между тем хозяйка готовилась стлать постели...

... На другой день, исполняя очередную недельную, Аккирей ушел пасти овец. Без него я кончил в два дня еще другой пай; в другие два, как шел дождь, от скуки я ходил за грушей и приносил меры по три, думая, что придется жить у них — груша пригодится. Высушив, они мелют ее в жерновах, и, разведя в воде, заедают жирное. Потом день сгребал сено, скошенное с Аккиреем. В горах, где солнце освещает мало и закатывается рано, трава как не скоро поспевает, так не скоро и сохнет. День еще косил, и хозяйка, скупая женщина, видя молчаливость, не приносила мне и завтракать; когда я пришел обедать, она угостила меня одним огурцом, с небольшим куском хлеба, и после говорила другим, когда — хвалили мою ревность к работе: "Он нерихотлив!" Желая угодить мужу, или слишком заботясь о хозяйстве, чтобы ловить удобные дни, она выслала меня на работу даже в недельный день, пятницу (перескан), когда они сами ничего не делают. Но лишь только я вышел и начал косить, услышал крик: "Сударь! Ступай домой: сегодня работать грех! стыдно Ине, что она послала тебя. Не бойся, иди — знай: Аккирей не скажет ничего." Это была родная сестра Хазыры. Я послушался и оставил работу. Ина, когда я пришел, сконфузилась.

По вечерам беседовал со мной солдат. Не мог он нахвалиться своим аулом, говоря, что лучше его нет, что Дарги, хотя и резиденция, нисколько не лучше. В самом деле, сколько мог заметить я сам, весь аул Гюни составлял какую-то, родственную общину. Всюду какая-то тишина и согласие. Солдат сказывал, будто бы все жители между собой родные; а во всем ауле домов до ста.

Прожив в Гюнях девять дней, я только работал Аккирею, и видя, что шапка мне не шилась, не хотел больше жить здесь. К тому же редко видел Хазыру. Вечером как-то раз сидели мы только вдвоем: сидя у огня, украдкой поглядывал я на нее: она сучила шелк. Молчали мы долго, но первая заговорила она: "Что, Сударь, нравится ли тебе наш аул? Лучше Гильдигана или нет?" Я похвалил и опять настала тишина. В девятый день вечером приехал к нам сын Високая и с ним пришла сестра Аккирея. Она гостила у своей сестры, жены Високая. Я спрашивал, не продан ли я, что живу и работаю только одному, и узнав, что нет, говорил: "Хлеб есть у меня и дома. Но я готов остаться с тем, чтоб была какая-нибудь польза моему хозяину, как человеку бедному." Но приезжий старался уговорить меня остаться, представляя, что жить мне все равно, где бы то ни было, а пища тут лучше. Переводчиком многих объяснений с моей стороны был солдат. Утром, приезжий, садясь уже на лошадь неожиданно сказал мне: "Ну, пойдем". Надобно было быть твердым в словах. Извиняя их коварству, я не спросил и шапки, не взял на дорогу ни куска, не закусив ничего, подняв косу на плечо и пошел вслед за верховым. Нехотя я должен был поспевать за ним и не сказал во всю дорогу с ним ни слова...

... Я пришел домой к вечеру. Все мой хозяева встретили меня с радостью: Ака заметил мою худобу, Абазат краснел и благодарил за мою гордость. Високай был обвинен На другой день посетил меня лихорадка (хорши, у линейных казаков корча или корчая). Цацу, по приказанию Абазата, сварила ежевичного листу; меня посадили над паром, покрыв на поставленные возле три жердочки одеялом и заставляли мешать траву в котле. Потом положили меня на постель, укутав как можно больше; так я потел всю ночь.

Хотя пот — лучшее лекарство в такой болезни, однако мне вовсе не помогло это средство; через день я свалился по-прежнему. Абазат, относя болезнь мою к тоске, советовался с женой женить меня; подняв одеяло, я смеялся и стал расспрашивать Цацу о Хазыре. Видя мою привязанность, хозяин предложил, не хочу ли я быть проданным Аккирею, и через три дня обрадовал: "Выздоровлявай, завтра пойдем в Гюни!" Я дал слово — и выздоровел: лекарем был ободренный дух.

О, влюбленность ! Ты зараза молодым людям ! Ты иногда своей горячей рукой согреваешь остывшее сердце страдальца!

Утром, как оставила меня лихорадка или, лучше сказать, имя Хазыры подняло меня, я впереди на своих-двоих, а иногда и присаживался на лошадь. Подъезжая к аулу, Абазат послал меня вперед, вызвать сестру Аккирея, как только одну из всего аула ему знакомую; сам остановился на хребте, стреножил коня и лег под бугром от ветра. Я побегал в дом Аккирея, но ни его, ни сестры не было, кроме Ины, которая тотчас накормив меня, велела звать Абазата в саклю. Стыдливость или обычай — не показываться наглым, не позволили ему исполнить просьбу хозяйки. Я тоже остался с ним. Не дождавшись, Ина вышла к нам сама, уже переодетая: но Абазат отдал ей только свое ружье, упросив взять меня как хворого, а сам остался на своем месте да вечера, пока не пришла сестра Аккирея. Это была пожилая дева, Хороших правил. Она сходила за Абазатом: я принял его лошадь, расседлал и дал ему корма. Абазат продрог, но не должен был показывать этого. Вечером собрались все родные его жены взглянуть на нас. Незамужние остались надолго и после ужина. Все расселись по стенам, Абазат и я сидели у огня; камин ярко освещал всех. Близкая родственница Цацы, девушка довольно хорошая, сидела всех ближе к Абазату в первом месте ряда и беспрестанно поправляла дрова; я был гостем — отдыхал. Хазыра, как моложе всех из своих подруг, сидела на конце ряда, ближе к порогу — ближе ко мне. Абазат, как магометанин, не могший рассматривать всех их, сидел с упертым в огонь носом и только ласково отвечал на комплименты родных своей жены. Зная его сердце, я иногда потихоньку подталкивал его взглянуть на Хазыру: с минуту он сидел в прежнем положении, потом искусно отвертывался от камина и украдкой поглядывал на красавицу, и в подтверждение моего за ней мнения крепко пожимал мне руку или ногу.

Так беседовали они до полуночи, я начинал думать, но не смел сказать о том, как был уже продан, следовательно, принадлежал Аккирею. Он не входил к нам весь вечер, но видя, что беседа длится, велел дать мне отдых: тотчас все расступились — и была поставлена постель. Не один уже сон видел я, как разошлись все.

Когда я встал, Абазат давно уже сидел у камина, Вдвоем мы позавтракали и беседовали; я благодарил его, что оставляет меня у Аккирея и спрашивал, могу ли я жениться. "Трудно, Сударь: о тебе все-таки будут думать как о пленнике; не знаю, каков к тебе будет Аккирей; может быть, кто и пойдет". А то у нас такой обычай: если ты влюбишься и она будет согласна выйти, тогда вы оба должны бежать в какой-нибудь аул, где есть родственники или знакомые; вас, разумеется, найдут, но нельзя будет разлучить. Старайся, чтоб полюбили". Когда он снял с шеи кожаный треугольничек, вынул оттуда бумажку, сложенную тоже треугольничком, и показывал горскую тарабарщину; кружочки, арабские цифры в ряд, разные слова, которых я не мог разобрать. Этот талисман, как говорил он, писал ему приятель его, мулла Алгозур. Не сказал чье было там имя, а толковал так: "Напиши прежде имя той, которую ты любишь, потом имя ее матери и все эти знаки, и, свернув бумагу таким же образом, положи куда-нибудь, с тем, чтобы твоя возлюбленная наступила на нее нечаянно".

В этот день все мы отправились стожить сено. Хазыра с своей сестрой шла с нами-. Досадовал я на Абазата, когда он, сорвав сливовую ветвь, тодал Хазыре. "Разве нельзя было оборвать сливы, – говорил я. – Слوميшь ты, другой – и обломают все дерево," – "Э! Ничего, Сударь! Тут много всего!" Разумеется, мне не ветвь дорога была, когда бы я сам готов был вырвать с корнем для нее то дерево: я боялся, чтобы впоследствии подобные ласкатели не сделали из Хазыры лисицу. Но остался доволен тем, что она приняла подарок равнодушно, как приняла бы и наша ржанушка, если б подарить ее такой веткой. Приятно было следить за ее работой: она трудилась больше всех. Невдалеке от нас работала одна женщина; видя, что мы оканчиваем :вою работу рано, просила кого-нибудь из нас помочь ей: первая пошла Хазыра, а за ней следом и я.

Вечером сидели мы втроем. Казалось, к чему было смотреть на меня пристально; но, как пожилому, Аккирею была подозрительна моя задумчивость, и на мой ответ, что я представляю себе будущую свою жизнь у него, он сделался молчаливее меня. Мы разошлись скоро.

Ночь пришла. Я спал крепко и долго не встал бы, если бы не разбудил меня Абазат. Недовольный беспокойством, я дерзко взглянул на него и встретил в нем большую перемену: бледный, он весь дрожал. "Вставай, скорее, – говорил он мне, – лошадь уже готова, ступай привяжи к седлу свою чую". Я затрепетал, что он хочет взять у меня последние лохмотья; но, привязав, услышал повеление идти с ним вместе. Я вспыхнул – и было не до расспросов, Абазат отказался от завтрака, я взял кусок; мы простились почти молча.

Дорогой уже я узнал, что вышла разладица Абазат говорил: "Сначала ты продан был за быка и двух коров с телятами, но после жена Аккирея, чтоб оставить племя от своей коровы, не согласилась отдать одного теленка из своего приданого. Ей стало жалко одного теленка: да разве ты не стоишь этого! Я – уздень – не хотел переменить своего слова". – "Напрасно! И это пригодилось бы тебе," – говорил я. – "Ну! Каттабац!"

Обдумывая, что бы это значило, я винил себя за свою задумчивость: мне казалось, что Аккирей усомнился, буду ли я жить – и употребил такую хитрость, ссылаясь на жену. Пришедши в Гильдиган, я слег в постель на три месяца...

... Рождество и Новый год мы встретили как дома. Часто солдат приходил ко мне голодный, и я кормил его, когда никого не было дома; иногда я утаивал яйца из своего курятника и мы пекли их в лесу. В январе куры уже начинают нестись; за ними ходил я, когда Цацу ждала родить; носил также тогда и воду. Когда я вышел с кувшином в первый раз, все на меня смотрели с удивлением и говорили: "Разве твоя Цацу не могла кликнуть кого-нибудь из нас?" Так, иногда, без хозяев, соседка делала мне сыскиль. Нередко хозяйки солдата, не надеясь на своего слугу, призывала меня к ребенку, когда самой было недосуг. Солдат у них был в пренебрежении. Меня же принимали иначе, и никогда, если я заходил к кому посидеть, не выпускали не накормив. Так, однажды хозяевами солдата я был оставлен на вечер и собственно для меня в котел был брошен кусок мяса. Но долго оно варилось; было поздно; пришел за мной Абазат: стоя на крыше землянки, он крикнул меня, я и простился. "Угощали ли они тебя чем? – говорил он, – я достал мяса и пришел за тобой; станем ужинать вместе". Так любил он меня! Никогда не хотел съесть чего-нибудь один: сало, и то он делил со мной пополам, не думая о жене; я же свою часть делил с Цацей; она краснела; Абазат не ревновал.

Солдат беспрестанно уговаривал меня к побегу, я не соглашался: "Станем пока высматривать дорогу, – говорил я, – а решусь разве тогда, когда Абазат мне изменит?" Вот однажды он назвал меня версты за две, пойдем да пойдем, говорил, ц верно, прежде обдумал улепетнуть. Но почему бы не уйти одному: нет, если мы тонем, то ухватываемся за другого. Он ходил где хотел; мне же нельзя было пренебрегать доверием, я всегда был осторожен от подозрения, чтобы не набрякать на себя гаечных кандалов и цепи – и лишиться свободы, потерять последнюю утеху рассеивать грусть хотя на малой воле. Мы шли и шли, все дальше и дальше, к счастью, издали я увидел чеченца и остановился, товарищ звал меня в сторону спрятаться; но, зная зоркость горцев, я не согласился и говорил: если увидел его я, то он давным-давно рассмотрел наши костюмы. Я покрыт был мешком, солдат в шинели. Встретившийся был Високай. Станным показалось мне его появление: я знал, что его аул в противоположной стороне. Подходя к нам, Високай кликнул меня и спросил, что мы тут делаем? – "Осматриваем дрова, чтобы отсюда можно было возить на санях." Старик не сказал ни слова и звал меня с собой, показать ему наше жилище. Я удивился: как старику не знать дороги! И сказал солдату: "Ну, брат, попались мы!" Солдат ругал меня, но шел с нами же вместе. Не доходя немного до хутора, я показал старику видневшуюся на тычинах кукурузу, говоря, что там наш хутор, сам же решился вовсе наутек; но Високай отговорился, что не знает нашей землянки. Я пошел повесить нос, солдат подался в сторону, простясь со мной, В землянке была одна Цацу, я не проронил из их разговора ни одного слова. Видя, что дочь не спрашивает меня о моей отлучке, он не сказал обо мне ни слова, догадавшись, что я хожу свободно, а сомнением своим боялся меня огорчить. Скоро он с нами простился. С тех пор полно осматривать дороги!

Преступным чужая осторожность кажется боязливостью; а в таких-то смельчаках больше трусости: ему ли, с низкой душой, перенести что твердо! Посмотрите на них под пулями! В ком неуместная дерзость, там и низкий трепет. Но все еще я не хотел бросить своего товарища: все-таки и он человек, к тому же и свой.

... Настала пора Цаце разрешиться от бремени. Абазат был дома, вдруг ночью меня будят и велят идти к Тамат; Абазат ушел к соседу Я развел огонь и стал греться; часа через три пришла Тамат и объяснила мне причину моего выхода; я просидел у ней до утра, там и позавтракал. Цацу освободилась, но войти к ней нельзя было до полудня. Вечером я сам сварил себе галушек и лег. Цаце ужин принесла Тамат, но хозяйка не хотела не поделиться со мной. Абазата уже не было дома, от стыда он ушел еще утром и не являлся пять дней; жена и сын были оставлены на мое попечение, я принял их на себя и без его просьбы! Он простился со мной, не говоря ни слова, не заглянул и в саклю к жене. Ему сын баран, как говорил он мне после.

В хуторе нам все были чужие и вовсе прежде незнакомые моей хозяйке: кого же Цацу могла просить о пособии себе! А как тяжело обременять собой других!

... Я понимал чувства Цацы между чужими и, помня свои, не требовал мзды, видя ее внутреннюю радость. Я отдал себя на служение, приличное лишь девушке; Перестлать Цаце постель, укрыть ее, вот тут, дельга, делиндуга(!) Покачать ребенка — грешно мне было бы отказаться. Тогда не раз она уверяла, что я теперь нужен, что Абазат редко бывает дома; но я не таял, зная горцев хорошо, а все-таки трудился без стыда возле слабой родильницы. Цацу была не ретива и прежде, а тут, при моей заботе, почему было не понежиться! Иногда она не поднималась даже и на плач ребенка: быть может, надеялась на Сударя, и Сударь тот не считал ребенка за барана, как отец его.

Прошло пять дней, Цацу все нежилась и нежилась, и я по-прежнему сушил пеленки. Видя во мне раба безмолвного, она стала и поохивать, сердясь, что я или не так ее одел, или не умею убаюкивать. Ответом моим было молчание, всегдашний мой щит. Но прочитав этот иероглиф умел не всякий. Вот как Цацу умела читать его. На шестой день, вечером, люлька, которую я же сделал, изломалась; Цаца заставила сделать ее по-прежнему: я так же сколотил ее, как старую, но не знал, как привязать веревочек и палочек, не понимая технических названий; Цацу сердилась явно, не веря моему незнанию, и принялась опрашивать сама. Но учительница не умела привести в лад качалки и злась, беспрестанно плевала. Я не вытерпел, и ушел к Тамат и стал говорить ей: "Ты знаешь, Тамат, как я жил до сих пор; знаешь, как ходил за ребенком: не стыдился того, что пристойно только девочке!.. Я не хочу у них жить, пусть продадут кому хотят; не то пусть ее муж лучше убьет меня, чем быть таким рабом!" Выслушав хладнокровно, Тамат отвечала: "Погоди, Сударь, не сердись, она еще больна; ты знаешь, что у нас нет никого, кроме тебя." Тамат пошла сама делать зыбку, пеняла Цаце за такое обращение, но, как своя, все-таки оправдывала ее: "Ей думается, что ты понимаешь, но не хочешь делать; потерпи немного, она скоро выздоровеет."

Посидев немного, я ушел домой и лег спать. Ребенок не виноват — ночью я качал его по-прежнему.

Наутро пришел Абазат, я качал его сына; подавая мне руку, он спрашивал: "Что сын мой, Сударь?" — "Нет, не твой он сын!" — говорил я, Имеясь.. "Как не мой, Сударь?" — "Ты видишь, что качаю его я, а не ты", — "Ну, погоди, Сударь: теперь некому, я приведу девочку, сестру Цацы, ты больше никогда не возьмешь его в руки." Посидев немного, он пошел к Тамат, а я в лес, чтобы дать им простор поговорить обо мне.

... Цацу, по приходу мужа, сама убрала свою постель и лежала на одном только камышовом ковре; вечером, видя, что мы помирились, умильно просила меня снять с полки постель и постлать им, показывая тем все еще свою слабость и что точно так же ласково обращалась со мной и прежде. Но Абазат грозно крикнул на нее, заставляя встать самой. Плохо еще хитрила Цацу, должна была встать.

Утром Абазат, собираясь в путь, ни к селу ни к городу начал говорить мне, что никогда ни за что не продаст меня, как разве только на мою сторону, к русским; я слушал и подозревал. По уходу его я пошел к солдату и заранее прощался с ним, говоря: "Я знаю, что продаст теперь, и продаст в горы; а мне хочется пожить там, узнать обо всем хорошенько: авось, Бог даст, вернусь к своим — все пригодится." Предположения мои сбылись.

Меня продали. Тяжко быть на этом месте! Заставить молчать в себе ум и чувство, быть деревяшкой!..

...Прошло две недели. Абазат предлагал мне идти в горы, в работники к эндийцам, как я просился. "С тем только пойду, — говорил я, — если пришлют выкуп, ты должен меня взять." Он обещал. Поход отложен был на день. Абазат сходил между тем за Яндой, и мы отправились втроем; к ночи пришли в Галэ. Весь вечер я продумал, перевернул весь свет и досадовал, что согласился. Абазат спрашивал о моей задумчивости; я отвечал: "Для чего ты скрываешь? Ведь ты ведешь меня продавать: разве я уйду отсюда?" Долго он не признавался, потом стал извиняться, что ни у него, ни у жены, ни у меня самого нет ничего и работы тоже. Я просил продать к порядочному человеку.

На мое счастье, утром приехал Ака. Обрадовавшись, я вышел к нему навстречу.

— Марши-ауляга, Сударь! А-хунду этци?

— Абазат ведет меня в горы, — отвечал я.

— Яц, яц! — вскричал Ака: ма-ойля! Ма-ойля! (Нет, нет! Не думай, не думай!)

—

Я не верил ничему.

День прошел в переговорах. Наутро Абазат, отозвав меня в другую землянку и заставляя клясться над своим талисманом, говорил: "Ты знаешь, что я тебя любил; сколько раз за тебя доставалось от меня жене моей! Грешно будет тебе не дать мне слова. Мне жаль продать тебя в горы; я отдаю тебя Аке, несмотря, что в горах взял бы дороже. Ака берет с условием: он дает мне лошадь, а я в придачу к тебе свое ружье; если ты. проживешь до осени, то я пользуюсь лошадью; если же уйдешь, то лошадь я должен возвратить – и ружье мое пропадет. Поживи хоть до осени, а там как хочешь." Я дал слово.

Условясь, мы вошли к Аке. Он встал и, взяв Абазата за руку, начал при свидетелях: "Вот, этот газак (казак или русский вообще), это топ (ружье) беру я, а отдаю лошадь..." Старик рознил руки, я бросился к Аке на шею, поцеловал Абазата, который тотчас же ушел в хутор к Аке за лошадью; все стали поздравлять меня и Аку. Я был весел, Ака вне себя.

Ака приезжал просушивать кукурузу, сложенную на зиму в лесу, вблизи Гильдигана. Из большого плетеного ларя, стоявшего на тычинках, мы в один день перевешали пучки на деревья; на другой день простились с Яндой совсем, заехали к Дадак, которую я не видал полгода; муж ее, Моргуст, повеселил нас своей скрипкой.

Их скрипка состоит из чашки, с квадратным вырезом на дне, обтянутой сырой кожей, с двумя круглыми прорезами; к ней приделан гриф, а вместо струн три шелковинки; смычок из конских волос. У многих есть балалайки (пандур).

Дадак пособила нам сложить пучки опять в ларь, и мы отправились домой. Дорогой Ака колесил по разным аулам, показывая меня.

Подъезжая к хутору, на скрип арбы выбежали встречать нас дети Аки: Худу, Чергес и Пуллу. (Эту девочку они называли генералом Пулло). Все они радостно меня приветствовали. С Худу я поменялся улыбкой. Чергеса и Пуллу поцеловал. Ака стал говорить своей Туархан: "Ну, метышка и ты, Худу, почините все платье Сударя, вымойте мою рубашку; я отдам ему ее, а себе куплю Другую." Все было исполнено непрекословно: Худу перемыла все, Туархан перечинила; поршни починил я сам, а для тепла Ака уступил мне свой полшубок.

Лихорадка меня оставила, я стал поправляться и от перемены в жизни, и от пищи: на мое счастье у них отелилась корова; а молоко я любил и прежде.

... Вздумалось Аке наготовить дров. Накануне Благовещения мы отправились в лес, привезли воз, два раза ездил я один. Не поев в этот день еще ничего, я утомился; сложив дрова, не пошел в саклю, а сел на сделанную мной лавочку, перед дверью: Ака извинялся, что я голоден, и торопил Туархан приготовить мне сыскуль. Накормив, все они вышли на двор беседовать на солнце; я остался в сакле: усталый и грустный, лег среди пола перед огнем и заснул крепко. Солнце начало садиться. Ака, боясь лихорадки, разбудил меня, я встал и сел горевать на лавочку; тоска непонятная одолела меня. В ауле было уже семей двадцать; у нашей сакли толпилась куча, я сидел один, вдруг подъехал верховой, сердце мое вздрогнуло, я полагал, не присланный ли за мной из Грозной, но ошибся: когда толпа обернулась ко мне, показывая на меня приезжему, я не вытерпел, подошел к ним, поздоровался, и тут начался торг. Я спросил где живет покупатель: все закричали, что вблизи Грозной, показывая тем, что я легко могу уйти, если захочу. Меня удивила такая откровенность, тем более, что приезжий не был знаком никому, следовательно, можно было говорить двусмысленно: намекая мне о возможности наутек и показывая ему, что они готовы услужить продажей и потому прельщают близостью. Я предполагал, что тут что-нибудь да значит, и знал, что без согласия моего Ака меня не продаст, поклявшись при покупке, что если пришлют выкуп отдать тотчас же, если же нет, то держать у себя, пока я сам не захочу быть проданным. Ему можно было ждать выкупа: он не так нуждался, как Абазат. На выкуп надежда была плохая, когда прошло уже пять месяцев с тех пор как я писал. Я стоял в раздумье. Покупщик говорил, что у него есть пленная казачка, девушка, которую, если он меня купит, отдаст за меня замуж. Опершись на ружье, Ака опустил голову, отдаваясь совершенно на мою волю. Не дав мне выговорить и слова, приезжий отвечал: "Как не хотеть жениться!" Сомневаясь в твердости Аки, потому что шапка серебра меняет все, я, смерив всадника, заключил, что он добрый человек, и решился ударить по рукам... Настоящий торг был отложен до завтра. Утром Ака должен был привести меня в хутор перекупщика, который находился в верстах пятнадцати.

Вся ночь у меня прошла в мечтах. Мы встали чуть свет. Чтобы продать товар лицом, Ака натуго подпоясал меня ремнем, пообтянул полы полушубка, повышравил рубашку, осмотрел обувь, поразбил косматую шапку и просил быть веселей.

Простясь со всеми, мы пошли скоро. Снег таял, Холхолой бушевал. По жердям через реку Ака пробежал, я следом было за ним, но с непривычки голова закружилась и на самой середине я упал на руки. Ака хотел было воротиться провести меня, но мое самолюбие удержало его; отдохнув, я сам дополз до берега.

В первом встречном ауле Ака спросил об Хаухаре (так звали перекупщика), точно ли он имеет пленницу девушку: было подтверждено. Но пришед в настоящий хутор, оба мы должны были

разочароваться: пленница была пожилая женщина. Нам показали на нее, она стояла на крыше землянки. Подойдя ближе, стыдно было взглянуть на нее: она была в белой рубашке, на остриженной голове белый платок, казалась дурочкой. Когда вошли мы в дом, ее кликнули, чтобы поговорить с русским. Из разговоров с ней я узнал, что она круглая сирота на чужой стороне. Веселые горцы не знают тоски. Ей говорили: "Ну, Мари, вот твой жених." Казачка заплакала, я старался успокоить, она говорила: "У меня есть дочь, полно не старше ли тебя! Куда мне замуж! И пара ли ты!.." Я засмеялся. Обдумав, пленница переменила тон: "Вы, услуживый, верно сами сюда пришли? Давно ли здесь живете?" Я отвечал, что я пленный. "Не может быть: так пленные не ходят, не одевают их так, да вы такие веселые!"

Хаухар еще не возвращался: из Гильдигана он проехал в другие аулы, желая найти солдата подешевле. Родной его брат, Бей-Булат, Старокуртовец, вызвал меня на крышу землянки и стал говорить: "У меня есть еще брат, кроме Хаухара, Тоу-Булат, который содержится теперь в остроге; чтоб освободить его, надо привести пленного, вот я и пришел сюда за этим: хочешь ли ты к своим? Теперь всем полкам дан отдых и всем вышли награды, кто только был в Ичкерийском лесу!" Недоверчивы горцы в высшей степени, недоверчивости и я научился у них: я думал, что он испытывает, как я думаю о родине, можно ли надеяться, чтоб я прожил в этом месте, близко к русским. Я отвечал: "Разумеется, хотел бы и к своим, но почему не жить и здесь, если брат твой человек добрый."

— Нет, — говорил он, — ты все-таки не веришь: нам хочется купить тебя подешевле, вот почему мы и говорим твоему хозяину, что покупаем в работники; если он узнает, что к русским, то или не продаст, или запросит дорого. Ничего не говори своему хозяину.

Я стал верить.

Приехал Хаухар, начался торг. Видя неотступчивость покупателей, Ака стал ломаться: ему давали и ружье и кукурузу; он говорил, что у него три ружья, а кукурузы будет на три года. Разумеется, он лгал, ему хотелось взять что получше. Замечая, что Хаухар беспрестанно советуется с братом, я стал уверяться, что точно покупает Бей-Булат, а не он, и стал смело говорить Аке: "Что же ты не отдаешь? Ведь тебе дают хорошо?" Ему давали и лошадь, но он ломался. Дольше, говоря, что лучше поведет меня в горы, возьмет там не столько; если же не продаст там, то надеется, я буду хороший работник, научусь и мастерству... Досадно было мне, я советовал Аке отдать меня, показывая тем, что я больше не хочу у него жить. Разгоряченный Ака повесил голову, и, подумав, ударил по рукам.

Так я отдан был за кобылицу с жеребенком, оцененную в двадцать рублей серебром, да в придачу Хаухар обязался еще уплатить восемь целковых.

Взяв лошадь, Ака извинился, что не может оставить на мне полушубка, что у него самого только один: я тотчас снял, мне принесли другой. Ака пожелал мне доброго житья, а я послал с ним поклоны.

Проводив Аку, все стали меня поздравлять, что я скоро увижу мать свою. Бей-Булат говорил: "Почему знать? Может быть, теперь тебя и отдадут матери за твой плен!" Двадцать пятое марта было доброй вестью для меня.

Тут написал я письмо казачке, и Хаухар обещал отвезти его сам.

От привычки видеть между горцами обманы я не радовался наружно. Хаухару казалось странным мое хладнокровие, он говорил: "Скажи, если не хочешь к своим, я оставлю, найду другого солдата; если хочешь, женю: Мари променяю на девушку-казачку, вот недалеко от нас?.."

Рано разбудил меня Бей-Булат, говоря, что идти далеко. Мне дали небольшие санвы, положили туда индюшких яиц, прося Бей-Булата взамен принести им куриных. Поручено было ношу беречь. Казачка просила передать о себе в свою станицу Сто-Дерев. Горько зарыдала она, когда я перекинул сумочки через плечо. Благословясь от всей души, я скорым шагом пошел к своим.